

Глава 1

ДУША

Вы когда-нибудь задумывались, из чего состоит ваше внутреннее «я»? Что наполняет вас, создает красивое и цельное полотно мыслей, красок и интонаций души, противоречит тонким, еле уловимым мотивам прошлого, хотя продолжает вплетать их в осознанные и размеренные голоса настоящего?

Одиноким взрослым предчувствует и осязает эту палитру сильнее. Тонет в ней. Предвосхищает сладость посреди мощи трагедий и незалечимых эмоций. Одиноким ребенок проживает сплоченные партитуры этого оркестра с настежь открытой душой, не зная, не ведая мощи, пользы или вреда этого опыта, впуская все, оставляя решение остаться или забыться навек за моментами самих реалий.

Я состою из воспоминаний. Из тех глубинных, что откуда-то из детства тянутся тонкими ниточками, переплетаясь, перестукиваясь, пронося свой звон и вибрации сквозь время. Порой впиваясь и оставляя тонкие ранки. Порой возвращая к чему-то, к каким-то чувствам и мыслям, которые, разливаясь теплом в груди, несут спокойствие и счастье.

Я помню запахи, звуки. Навсегда засели в памяти голоса, походки, взгляды. Веер маленьких бугристых морщинок, которые собирались в уголках глаз, когда улыбался прадедушка. Теплый тихий перестук бабиных бус на широкой ее груди. Шорох колючей кофты с нитками-блестками

и звонкое цоканье железных набоек на низеньких каблучках ее сношенных морщинистых туфель, больше похожих на бежевые затертые чайники. Вкус теплого парного молока с горячей хрусткой коркой испеченного бабой хлеба или сочный аромат зеленого дудчатого лука, который она ловко шинковала на пироги.

Помню, как пахло прохладой раннее утро, когда солнце лениво начинало выглядывать из-за плотной шапки тумана. Мутные сгустки его лежали неровно, сбивчиво, кучкуясь в ямах. Пейзаж на заре напоминал затишье после странной игры, в момент которой разорвали пуховую подушку и раскидали по селу отсыревшее ее туманное нутро: щепоть над озером; малость на подъеме в сопку, небрежно укрыв кривые корни деревьев; щедрой и плотной пеленой у края болота; спрятав проходимые тропы в низине, где спят тревожно дырявые заборы чьих-то огородов, и уронив слипшиеся комья на мягком разнотравье широкого луга.

Каждым таким утром, ровно в пять часов, если не запаздывал поезд, мы с бабушкой спускались с подножки темно-зеленого вагона на холодный безлюдный перрон. Воздух был тяжелым и невкусным, оседал во рту металлической взвесью, царапал веки. И, будто запоздавшего гостя, меня расхватывали на куски все составляющие этого места: ароматы дыма, мазута и сырых шпал, звенящие и гудящие звуки тепловозов, что проносились мимо, и монотонная неразборчивая мелодия, которая, как из дырявой кастрюли, хлюпала кусками из радиорупора, висевшего на столбе.

От вокзала наш путь продолжался по узким поселковым улочкам. Местами они заросли полынью и рябями

ветками репейника; скользкие кочки, сбившиеся в изгибах троп, напоминали лысые верблюжьи горбы, а грязные лужи, что скапливались маленькими озерами, манили неумную детскую натуру суетливо искать в траве сломанную ветку, чтобы трогать и передвигать разноцветные пленочки бензина, лежащие поверх мутной водяной глади, словно они являлись чем-то волшебным.

По пути я рассматривала безмолвные дома, изучала их унылые, бедные дворики, всякую гнилую дощечку, неловко выглядывающий кривой ржавый гвоздь, расщелины и остатки выцветшей на солнцепеке краски всех этих убогих, покосившихся заборов. Утреннее солнце начинало светить все ярче, небо прояснялось. Первые птицы суетились и хвастались, что узнали и почувствовали новости раньше остальных.

Когда нас уже встречал деревянный дом, ухоженный и широкий, словно буханка домашнего хлеба, развалившаяся по противню от печного жара, воздух вокруг становился каким-то особенным. Дом успевал к этому часу обогреться и просохнуть в жгучих лучах. Дышал теплом и покоем. Встречал. Жил.

Крыльцо из тонких деревянных дощечек местами было еще влажным, мягким и пахло явно и насыщенно, словно свежий древесный сруб после дождя. Старая тяжелая дверь на веранде с огромной округлой ручкой приветствовала нас своим тягучим скрипом, похожим на кряхтящий кашель жалкой больной дворняги. В маленькое окошко в главной комнате нагло стучались ветки разросшейся малины из палисадника, ломились, толкали пыльные стекла, пытались пробиться в комнату. Кустарники заслоняли

дневной свет, из-за их густоты в окно было видно разве что кудрявые заросли сладких ягод, что пробивались ко взору домочадцев, тянули веточки, зазывали, манили, хитро влекли протянуть руку и рвать малину через пыльные узкие окошки.

Главное — не уколотся и не оцарапать руку: малина у прадеда Вани с характером. Такие шипы, должно быть, у напитанных ядом диких кустов водятся в сказках: дотронешься, уколешь палец — и уснешь на веки вечные. Помню, однажды мы с бабой пробирались по краешку палисадника, между кирпичной завалинкой и колючей малиной, чтобы постучать в окно, потому что двери были заперты. Баба решила, что деда Ваня спит. Она неодобрительно поворчала на его ослабевший к старости слух, и мы полезли через колючие кусты, как самые настоящие воры, правда, не грабить, а разбудить. Баба шла впереди, и тугая ветка, отведенная ее широкой талией, вырвалась и больно хлестнула меня по лицу. Хлестнула с размаху, расцарапав в кровь острыми иглами лоб, щеки и ухо. Ох и выдала мне баба за мою бестолковость! Ох и редела я тогда!

Мои детские прогулки во дворе дома по традиции проходили босиком, и поэтому невозможно было не наступить ненароком на пестрое мохнатое пчелиное тельце. Медоносные золотистобокые хозяева всего цветущего и плодоносящего в округе, они назойливо кружили по двору и без опаски садились на холодную землю, замирая и питаясь влагой, и решительно погибали под моими маленькими ступнями, больно ужалив в ответ.

— Вечно ты глаза свои забычишь! — кричала баба. — Смотреть надо, куда идешь.

И я ревела. Ревела без остановки. От жгучей боли, терзавшей ногу. И оттого что никто не пожалел. А потом успокаивалась и все начинала заново.

Таким было каждое редкое утро, когда мы приезжали в гости к прадедусшке Ване. Окутывающим. Наполняющим. Оставляющим внутри звонкие воспоминания.

Утро несколькими годами позже в этом же деревянном доме было другим...

Посреди той самой главной комнаты с маленьким окошком стоит длинная деревянная лавка, на которой возвышается темно-красный бархатный гроб.

Мне семь.

Нерешительно, медленно и молча я прохожу в комнату. Сажусь на старенькое кресло с лакированными деревянными подлокотниками рыжего цвета. Оно скрипит, деревянная половица под ним уныло отзывается, а я не могу ничего сказать. Поджимаю нижнюю губу сильнее, потому что она ползет куда-то вниз и все старается перекосить мне лицо.

Бабки и тетки суетятся вокруг узкого шестиугольного ящика. Они нервно спорят, ругают друг друга за неловкость и неумелость, обвязывая ритуальными бинтами запястья. Сомневаются, что покойник одобрит их общее намерение вложить в карман его пиджака ту самую металлическую расческу. Иван Демьянович при жизни с ней не расставался. Она выглядывала из его нагрудного кармашка как тонкая серебристая рыбка. Оказывалась в широкой ладони, когда он выходил на крыльцо, направляясь к дворовому рукомоЙнику с маленьким зеркальцем. Мне было

интересно наблюдать, как деда усердно расчесывал свои густые серые волосы, укладывая при этом богатую челку на правый бок.

Дом прадедушки все тот же, хотя мне мерещится странное, словно внутри него что-то изменилось. Нет, не в пространстве комнат и коридоров, а намного глубже, там, где билось его живое древесное сердце, которое вдруг безжалостно вынули и унесли.

Я осматриваю стены и мебель, прислушиваюсь к ним. Они будто стали безжизненными. Большое зеркальное полотно старого трельяжа, телевизор и стекла серванта завешены мятыми льняными простынями, посеребрившими от времени. Нижние полки с множеством книг и маленькие шарики-ручки выдвижных шкафчиков боязливо выглядят из-под краев ткани. Всю эту домашнюю библиотеку я раскладывала на полу зала длинными рядками вдоль половиц, и от этих книжных дорожек в комнате не оставалось свободного места. Перелистывала пожелтевшие страницы, слушала их шорох, вдыхала необыкновенный бумажный аромат, рассматривала черно-белые иллюстрации, больше похожие на чей-то неясный сон. А в тех самых двух узких выдвижных ящиках у прадеда, как повелось, припасена новая трубочка жевательной серы. Рядом с ней лежат старый пластиковый пенал с разноцветными советскими пуговицами и ручная машинка для стрижки в мятой картонной коробке с ярко-желтой наклейкой. На этом самом вкладыше чернилами напечатано что-то о том, где и когда создали сияющее парикмахерское чудо, но буквы со временем стерлись, оставив на шершавом картоне кусочек неразборчивой

фразы: «Министерство ...мышленности... Свердловский промкомбинат...» Наверное, врезалось в память потому, что я несметное количество раз перечитывала надпись, выведенную красивым, аккуратным чертежным шрифтом. Перечитывала и думала, где находится и чем занимается загадочное министерство «мышленности», — интуиция подсказывала мне, что в главные обязанности его подчиненных входила слежка за мыслями людей, и весомо полагать, что машинка для стрижки не была обычным предметом. И что за дивный город Свердловск? Где он находится? Зачем в нем возвели министерство, распоряжающееся чужими мыслями? Много вычурных загадок, зародившихся по вине неясной надписи на картонной упаковке, неустанно мелькало в моей голове, подобно дворовому пчелиному рою.

Если бы не пустота и тишина, которые неожиданно возникли, словно звук случайно разорванной страницы тех самых старых книг, то встреча вышла бы другой: приятной, радостной, — какой и должна быть. Мы бы отправились на летнюю кухню с большой печью и буфетом. Буфет кривой и весь запачкан пятнами. Но из него прадед Ваня доставал для меня редкие сладости, называя их гостинцами. На стене у окошка висит черно-белый портрет, на котором дед Ваня обнимает свою молодую жену. Она была некрасивой, неприятной внешности. Мне не нравилось ее вытянутое и строгое лицо. Хотя я и видела его лишь на портрете, а в жизни прабабку Марию не знала: она рано умерла, от болезни. А портрет они сделали, когда дед Ваня вернулся с войны. Ему тогда было тридцать шесть.

Рядом с печкой, словно почерневшая дверца в жуткую сказку, маячит большая картина Василия Перова

«Рыболов» — копия, хорошая подделка, как говорил деда Ваня. Она казалась мне странной и уродливой, и усатый старый рыбак в шляпе выглядел не рыбаком, а хитрым и опасным старым дядькой, и мой детский разум сопротивлялся и не мог взять в толк, зачем омрачать уютный уголок малоприятными образами. Но скромный, небогатый интерьер с нелепыми для него и необъяснимыми произведениями искусства стал частью того, что нельзя отнять, увековечившись и закрепившись в моей памяти.

Сегодняшним утром мне положено быть незаметной для взрослых, послушной, тихой и не создающей помех. Они заняты делами и разговорами. Рассказов множество, говорят шепотом, любят говорить. Бесконечные воспоминания старушек и пожилых женщин переплетаются с протяжными вздохами и слезами, чуть слышно наполняя тишину вдруг опустевшего дома.

Неторопливо бредут к скрипучей осиротевшей калитке старые жители поселка. Несут цветы, сорванные с собственных клумб, и добрые слова, чтобы «проводить» в последний путь.

Я выглядываю на дорогу, повиснув на заборчике. То смотрю на лица людей, что проходят мимо или втекают во двор, будто нерасторопный густой кисель. То наблюдаю, как болтается мое платье — в нем я похожа на палку, худощавую, тонкую, ровную, безжизненную. Моему сердцу непонятно, откуда взялась вся эта тоска, как ей удалось так быстро окутать и дом, и колючий малиновый сад во дворе, и пышно цветущие по весне, а этим июльским днем скромно качающиеся, шелестящие листьями ветки сирени,

и наклонившийся к земле, давно не крашенный забор. Грусть откуда-то сверху скинула вязаный плотный шарф, через который тяжело вдохнуть воздух, и обмотала им все вокруг.

Вечеру посторонние расходятся. Из взрослых остаются трое: моя баба Тоня, бабка Нина, которая живет через дорогу, знаетса со всеми в поселке и которая, как мне видится, старше остальных еще лет на сто — сто пятьдесят, и баба Света. Эту бабу Свету я не знаю, но моя баба Тоня сказала, что она новая жена Юрика — родного брата моей бабы Тони, с которым она не виделась много месяцев.

Вместе мы еще недолго сидим в комнате, рядом с бархатным ложем, в котором «отдыхает» прадед. Вытянутый струной, он похож на угодливого и смиренного великана в своем коричневом парадном костюме, накрытый до груди белой простыней. Мне хорошо видно его бледный нос с огромными, как дождевые канавы, ноздрями.

Взрослые вспоминают сплетни и разные сельские истории, в которые кто-то уже и до них щедро добавил мистики и жути. Бабка Нина говорит больше всех, перед каждой фразой громко набирая воздуха в грудь. Она обожает небывальщину и чудным образом знает немислимые подробности всех этих странных историй.

— ...Сначала Тимофей Ильич, потом Настасья Петровна и вот на тебе — Иван, покойник за покойником, — начинается она.

— Да не говорите, баб Нин, — поддерживает ее, закивав, баба Света.

— А соседка-то моя Петровна как странно ушла... — Бабка Нинка волнуется. Она смотрит на собеседниц и, поняв, что слушают ее с особым интересом, продолжает

рассказывать, выпучив глаза. То ли от болезни, то ли от старости бабка Нина ежесекундно качает, потрясывает головой, как болванчик или сломанная кукла. Оттого ее ветхое, морщинистое тело похоже на иссохшего в паутине мотыля. И когда баба Нина рассказывает что-то с придыханием и напряжением, то нервные подергивания из стороны в сторону становятся сильнее. — Было-то все вона как! Жаловалась мне Настасья при встрече, что, мол, какие-то скрипы, шорохи слышит по ночам, то на крыльце, то в соседней комнате. Словно ходит кто-то. А встанет с кровати, свет включит — тишина, нет никого! Ложится — и все по новой: шаги, вот прям отчетливые, медленные, тяжелые. У нее жизнь вся внутри замирает, она притихнет, ждет, а гость-то не уходит. Она так за ночь раза три-четыре вскочит, пошумит, проверит — никого! А потом утром ее на крыльце мертвую-то и обнаружили, с фонариком в руках.

— Да вы что! — Баба Тоня вся вытягивается вперед, ближе. — А собака во дворе что, не лаяла, не тревожилась? У нее же собака здоровая какая. Должна была почуять.

— Пропала ее собака. Незадолго до того, как все и началось, — шепотом говорит бабка Нина. — Ясно же: нечистое что-то.

За окном как-то неожиданно и с невероятной силой начинается ливень. Шумит, обрушивается на поселок, словно стена из тяжелейших капель. А в доме деда Вани, где под окошком палисадник, все стихийное слышится и чувствуется по-особенному. Кусты шуршат, перешептываются, трещат, бьют в окно. Баба Света подскакивает, чтобы скорее закрыть маленькое окошко, а потом

усаживается обратно на выцветший ворчащий диван, поджав под себя ноги.

Я сижу в любимом кресле напротив них и молча пью уже остывший чай с бутербродами с маслом и сахаром. Масло магазинное — гадкое, невкусное, не то, что баба когда-то тайком приносила с работы, нет. Это продают в ларьках в круглой пластмассовой банке с надписью «Спред», и на вкус, и по ощущениям оно больше напоминает размятый в руках пластилин. Сахар не тонет и не тает на этом кусочке желтой массы, а противно скрипит на зубах. Я не люблю масло из круглой банки, но в животе давно чувствуется пустота, которая голосит каким-то бурлящим зовом. А что такое быть голодной, я знаю не понаслышке. Поэтому медленно пережевываю имеющееся к ужину.

— Свет, а ты родственников ее давно видела? — озадаченно спрашивает бабка Нина.

— В день похорон и видела, а больше не припомню. — Баба Света достает из кармана кофты маленький ситцевый платочек и вытирает его сложенным уголком вспотевшие канавы морщин под глазами. — Хоронили ее быстро. Гроб закрытый вынесли и увезли! Попрощаться с покойницей не позволили. Мы взглядом проводили Настасью Петровну, и на том все. Но чую: непростое с ней произошло, жуткое!.. Я Настасью за день до смерти на маленьком рынке встретила. Вся сама не своя, рассказывала как-то напуганно, взволнованно...

— А что рассказывала-то? — Баба Тоня любит тайны и сплетни, любит читать журналы о потустороннем и жутком, смотреть по телевизору передачи про семейные дрязги. А уж когда все соединяется в одной истории, в одной

чьей-то судьбе, то такое необъяснимое произведение полуреальности-полувымысла и хлебом ее становится, и лекарством, дающим новые силы, и всплеском застоявшейся или исчерпавшейся жизненной энергии. И вот я смотрю на нее сейчас и вижу знакомый взгляд поверх спущенных на кончик носа очков. Так она смотрит, занимаясь мыслью, разгадывает, распутывает необъяснимый клубок тайн: сначала, дернув головой, заставляет свои большие очки скатиться по длинному тонкому носу вниз, а потом, закатив глаза и высоко приподняв брови, просматривает тебя насквозь. Не отрываясь. Не моргая. Словно охотясь за каждым словом. Готовая заражать окружающих этой тягой к страшным сказкам. И те, кто находится рядом и говорит с ней, невольно делают интонацию чуть смелее, выражение лица — яснее, добавляют подробности, которых и не было, уверенней рассказывают.

Баба Света смотрит на бабу Тоню внимательно. Все еще обтирая лицо, затем шею заметно дрожащими руками. Убирает платок и продолжает:

— Говорила, что прошлой ночью то ли приснилось ей, то ли наяву — сама не поняла... Подскочила поперек полуночи, будто из колодца кто окатил ледяной... На крыльцах уже слышен скрип половиц. Она шаль накинула, окошко на кухне приоткрыла, смотрит, а по двору фигура чья-то полупрозрачная плывет в сторону сарайчика. Фигура ей узналась женская.

— А как она разглядела-то ночью? — Баба Тоня щурится, сдвинув брови, словно у нее резко ухудшилось зрение.

— Говорит, луна полная была, светила ярко, весь двор на виду был.

— А потом-то что? — шепотом спрашивает баба Тоня, вцепившись в кружку с чаем.

— Говорит, взяла фонарик, пошла посмотреть... Подошла к калитке сарайчика, спросила: «Кто здесь?» Не отвечают. Начала светить, вглядываться, видит: змея, жирная, с поросю толщиной. Примостилась и из вымени коровьего молоко сосет, причмокивая не хуже телка новорожденного.

— Ба-тюш-шки! — в один голос шипят и ахают старушки.

— А корова-то что? Не лягнула?

— Лежала, говорит, корова. Петровна заходить побоялась. Скорее в дом заскочила и дверь заперла. К утру отошла, успокоилась, говорит, решила, что почудилось или сон тяжелый, недобрый, пошла смотреть сарай, а корова мертвая уже. Так и лежала на том самом месте.

Весомое и протяжное аханье вырывается откуда-то из широких бабушкиных грудей и добавляет обстановке финальной ноты, той, которой не хватало, чтобы все сразу стало ясно.

— Так то ведьма была! — опомнившись, вопит одна из них. — Истинно вам говорю. Сколько таких историй рассказывают, когда ведьма в змею перевоплощается, а потом коровье молоко ворует, пьет!

— Правду говоришь — ведьма. Она ее и запугивала, значит, до смерти, чтобы со свету изжить!

Они еще секунду сидят, напуганно и взволнованно смотрят друг на друга. Осознают внутри себя что-то. Лица их ликуют, проведая и распутая страшную тайну. Каждая ждет, что скажет другая, и каждая из них продолжает молчать,

потому что громче наступившей тишины нет ничего в этой комнате. Не знаю, какая история последует далее, но меня занимают их разговоры. И приятно осознавать, что они не гонят ребенка в другую комнату, не поучают, что нехорошо и бессовестно так открыто слушать взрослые беседы.

Чай в фарфоровом чайничке с фиолетовым цветком на крышке остыл. Баба Тоня — везде и всюду главная по трапезе — решает сходить и долить кипятка. Но не успевает: происходит неожиданное и невероятное. Словно вызванное дурными рассказами. Или страшным ливнем за воротами. Или чем-то еще...

В гробу что-то шевелится и шуршит, и белая простыня начинает приподниматься. Образовавшееся под ней выпуклое и немаленького размера медленно двигается ниже, вдоль ног покойника, и, добравшись до середины, замирает...

Бабки с криками роняют из рук чайные чашки. Подскакивают, толкая и опрокидывая друг друга, как неуклюжие матрешки, что вот-вот упадут с полки. А потом, словно наперегонки, бросаются к выходу. Пробежав длинный узкий коридор дедушкиного дома, прячутся на кухне — в самой дальней комнате.

Я вся сжимаюсь в кресле, подтянув колени к подбородку и обняв их обеими руками. Чашка с остатками чая еще недолго крутится вокруг своей оси и дребезжит, а потом вдруг, достигнув краешка журнального столика, летит вниз. Чай растекается темным пятном на половице, осколки со звоном разлетаются в разные стороны. Свет в комнате мигает, словно предупреждая, что торопится и вот-вот наступит крошечная тьма, как в самых лютых историях. Я закрываю глаза, чтобы притвориться невидимкой.

На кухне притихли. Про меня они и не вспоминают. Верно, решили, что я уснула. Мои недолгие и напряженные раздумья прерывает донесшееся с кухни их перешептывание.

— Неужели и к Ивану в дом пожаловала?..

— Кто пожаловала?

— Кто-кто — ведьма!

— Наверное, следующего ищет.

— А вот нечего было упоминать злое: нечисть-то чувствует, где страх.

— А вдруг то душа тело покидает?

— Господи боже, у меня аж с сердцем плохо стало, аж в груди задавило.

— Да я сама чуть на тот свет не отошла.

— А сначала-то как: все тело парализовало — и с места не сдвинешься.

— Да не говори! Хотелось сразу выбежать, а ноги как свинцом налились. От пола не оторвать было.

— Вот-вот. Я если бы за крестиком не потянулась, в руке его не сжала, не двинулась бы с места.

— Да тише вы. Тише... Что же происходит-то?

— Вроде спокойно все. Никаких скрипов и шагов не слышно.

Я прислушиваюсь к их разговорам и понимаю, что с неизвестностью и опасностью осталась одна. Борюсь со страхом, медленно открываю глаза: сначала один, закрываю, потом открываю оба. Вроде никого рядом нет. Никакая ведьма со мной не стоит. Но в гробу под простыней все еще кто-то сидит, возвышается округлым холмиком, пугает странными очертаниями.

Я закрываю глаза и сжимаю их ладонями, вместо темноты под плотно прикрытыми веками мне видятся плывущие красные пятна.

Я пытаюсь придумать, как мне так ловко вскочить с кресла и убежать к ним на кухню, чтобы *ничто* не успело меня заметить или схватить. А что, если безопаснее оставаться неподвижной, сжавшись в незрячий кулек, не подавать ни звука, ни вида?

Сердце колотится так, что даже капли дикого дождя за окном намного тише этого стука. Дыхание становится сопением. Все тело предает меня, выдавая колотящийся внутри ужас. И чем дольше я думаю и жду, тем сильнее становится страх.

Все же открываю глаза. Обвожу комнату взглядом.

Ничего не изменилось: я и мертвый прадед, все так же спящий незыблемым сном в своем угловатом гробу. И зловещие очертания жуткого существа, скрывающегося под простыней. Медленно-медленно опустив босые ноги на гладкий крашенный пол, вцепившись руками в тонкие подлокотники, я приподнимаюсь. Аккуратно, чтобы ни кресло, ни половица не издали своего жалобного стона. И, не отводя глаз, я наблюдаю за гробом.

Только бы пол не закрипел, иначе *оно* услышит!

А что, если не убежать? Что, если подойти и посмотреть? Вдруг дед Ваня ожил? Вдруг я еще смогу обнять его и сказать, что мне так жаль. И что когда мы навещали его в больнице и он был уже весь исхудалый и уставший, постанывал от боли, тогда, в мрачный последний день нашей встречи, мне безмерно хотелось ему все это сказать, а я не могла. Нагло, упрямо комок подступил к горлу, и пришлось

молча сдерживать слезы. А плакать нельзя: плакать стыдно. Так баба говорит: «Будешь реветь — меня опозоришь, подведешь». И я не плакала. А если бы заплакала, то все бы сказала. И вдруг настал момент, когда я могу сказать. Пусть деда Ваня становится призраком или еще кем-то... Он же все равно меня услышит. Или нет?

Мысли попеременно с диким страхом, пронизывающим тело, тонкими холодными иголочками путаются и расплзаются по всему нутру, до кончиков пальцев. Шаг... еще один шаг...

— Тише! Слышите, половицы скрипят? — новая порция шипения доносится из кухни.

— Ой, божечки, кто-то ходит!

— Что делать-то нам?

И вот я стою уже у гроба, рядом. Разглядываю большое белоснежное родное лицо, лишившееся эмоций и знакомых теплых ужимок. Обвожу взглядом идеально выглаженный пиджак и белую простыню, под которой замерло оно, и думаю, что сделать. *Нечто* шевелится! Внутри моего живого тела колет и сжимается что-то трепыхающееся. Боль поднимается к горлу и душит. Убегать поздно. Я стою лицом к лицу с чем-то ужасным. Страх разъедает мне грудь, царапает, расплзается. Сдавливает все внутри, мешая дышать. Он один здесь живет всех нас.

Нечто медленно движется обратно — от ступней покойника кверху, туда, где у груди его находится край простыни, туда, где у середины гроба стою я!

По мере приближения мистического комка мое дыхание становится все чаще и чаще, грудь поднимается и опускается все быстрее и быстрее. Вот-вот готовясь запищать

что есть силы, резко набрав полные легкие воздуха, я каменею: из-под краешка простыни показывается пятнистая мохнатая, всклокоченная морда...

Пропавшая пару недель назад прадедова кошка измученно смотрит на меня, словно молит о помощи. Отдернув льняную ткань и обнаружив под ней пять крошечных мокрых котят, молча ворочающихся в ногах покойника, маленькая девочка, которая еще секунду назад стояла и смотрела в лицо своему страху, облаченному в маску неизвестности, выдыхает и потихоньку приходит в себя.

Котята еще слабые, хрупкие, как игрушечные. Шерсть их местами испачкана кровью. Глазки плотно закрыты, а лапочки медленно ворошат штанины дедушкиных брюк. Кошка тяжело и плавно дышит. Я беру ее на руки и пересаживаю на свое еще теплое кресло. Потом сгребаю пятерых пушистых новорожденных и несу их на кухню. Скрипучие половицы оповещают старушек о чем-то приближении.

Испуганные голосят при виде меня, а потом выдыхают. После с облегчением и развеянным опасением посмеиваются над собой, удивляются, пересказывают кусок этой истории, изменяя и дополняя его новыми мистическими деталями. Еще недолго разговаривают, а затем отправляются спать.

Ночью, в полумраке уставших комнат, я пару раз встаю, чтобы пробраться на кухню и погладить котят, которым постелили у печки старое лоскутное одеяло с дырявым краем. Кошка при виде меня слегка тревожится, но ее усталость не дает повода для агрессии. А я так и засыпаю на полу у печки, обнимая и котят, и кошку, и замусоленное лоскутное одеяло.

Утром старые женщины рассказывают всей округе о прошедшей ночи. Откуда-то берутся и шаги на крыльце, и очертания плывущего по двору темного силуэта, и неожиданно распахнувшееся настежь окно, впустившее резкий ливень в комнату, — ужас прощальной ночи захлестнул дом и чуть не погубил нас. «И конечно, неспроста кошка окотилась прямо в гробу! Неспроста...» — качая головой, добавляют они.

Следуя за всеми в большой автобус, направляющийся на кладбище, я выхожу со двора. Ржавая пружина на калитке сжимается, издав мерзкий протяжный скрип, и деревянная дверца с размаху захлопывается за моей спиной. Я вздрагиваю и оглядываюсь. Вижу опустевшую мрачную веранду через деревянные дощечки низкого забора. Смотрю в незакрытое окошечко кухни, на котором от ветерка качается белая кружевная шторка. Деда, радостно выглядывающего и оживленно машущего мне вслед, больше нет. Солнечные блики падают на умытые дождем, ставшие мутными стекла, ложатся на крыльцо и на темные листья перешептывающейся с ветерком сирени.

Я вдруг понимаю, что последний раз за мной закрылись двери прадедушкиного дома.

ЧЕРОКИ ДАЛЬНОГО ВОСТОКА

— Баба, а если бы поезд повез нас не назад, а вот прямо куда угодно, ты бы где загадала очутиться?

— Ну что ты пристаешь с дурными вопросами. Пошли уже быстреей...

— Ну куда бы ты хотела ехать, а? Ну скажи.

— Куда-куда, на Кудыкины горы... Иди скорее.

Уставшая баба тащит меня за руку через набитые людьми вагоны поезда. Пассажиры с измученными и угрюмыми лицами качаются в такт движению состава, смотрят на меня, друг на друга, в окно.

Я ненавижу поезда. Ненавижу, когда мы прячемся с бабой от кондуктора, переходя из одного вагона в другой, чтобы не платить за билет. Мои ноги сковывает дикий ужас, стоит только сделать шаг на подвижную переходную площадку, которая соединяет вагоны. Внизу, через массивный переходной фартук, я вижу, как стремительно мелькают под поездом трава, земля, камни и шпалы. Тело чугунного фартука качается, ежится, пытается уронить или скинуть меня прочь, прямо в зияющие щели своего металлического устройства.

Баба психует, одергивает мою руку, когда я отказываюсь идти, как упрямый теленок, упираясь ногами. Она кривит лицо и цедит сквозь зубы: «Ну пошли, чуть-чуть еще пройдем, и все, в том вагоне постоим, больше

